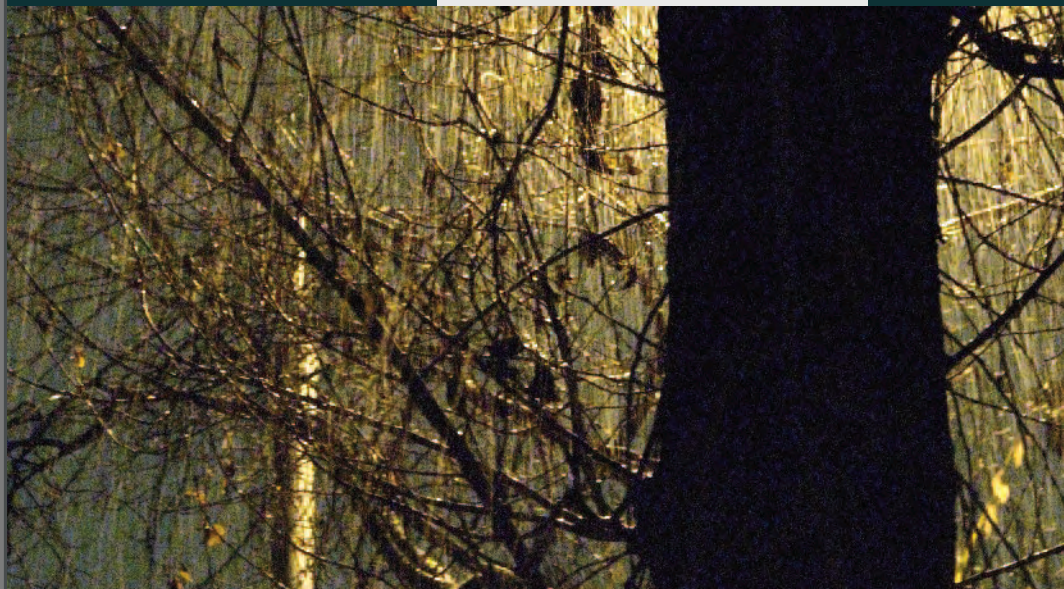


Инга Кузнецова



Внутреннее
зрение

Инга Кузнецова

Внутреннее зрение

Москва

«Воймега»

2010

УДК 821.161.1-1 Кузнецова
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
К89

И. Кузнецова
К89 Внутреннее зрение. — М.: Воймега, 2010. — 52 с.

ISBN 5-7640-0100-5

© И. Кузнецова, текст, 2010
© С. Труханов, оформление, 2010
© Мария Штох, фото, 2010
© «Воймега», 2010

1

* * *

Слова распахнуты, как праздничные двери,
но ты живёшь в другом краю,
где неба стык, томящихся деревьев
шум. Жалобу негромкую
как ни сыграла б ты на треснувшей жалейке –
на ветке боковой, –
всё тот же шорох и стук узкоколейки
над головой.

Напрасно тот датчанин беспокойный,
что всем слепцам заочный брат,
в дуплистой дудке не переждал погони,
расстроив звукоряд,
как ты. А ты не плачь: всё зарастет травой,
и в жухлой желтизне
сотрётся в пыль, и станет полевою
тоской, невидимой извне.

Март

Город, воронами разворованный,
точно горбушку, упавшую в снег
тающий, дворников яркие робы на
рваном ветру возвращают весне.

Стаи кричат чернотой пронзительной.
Утром проснёшься – в новом снегу
двор, будто фильм для медлительных зрителей,
для замирающих на бегу.

Бродишь с прививкою пастернаковой
в венах гриппозных, с болью в скуле.
Как одиноки неодинаково
стёртые знаки на мокрой земле!

Прошлое рвётся клочками газеты, и
не прочитать мне его никогда.
Город растерзанный, город раздетый
мартовская оmyвает вода.

Как мне к тебе подойти, подступиться,
город? Ловлю тебя на живца,
запоминая открытые лица
плёнкой засвеченного лица.

* * *

М. А.

Книги ли переставляешь на полке
иль затыкаешь оконные щёлки,
холода утреннего боясь, –
ты неотчётлива и безответна,
точно пилот, что пытается тщетно
с аэропортом выйти на связь.

Ощупью в чудище реактивном
ты пролетаешь над городом дивным,
ныне – безвидным. Там твоя тень
вяло почитывает Платона,
лампочки вкручивает в плафоны
и поливает растенья.

Зная наверное: рейс твой отложен, –
медленно смахивает с обложек
пыль, не рискуя попасть в переплёт.
А облака между вами, как лица
в памяти, множатся, и всё длится
твой полёт.

Прогулки наугад

Прогулки наугад, как гулкое стекло,
как узнавание незнакомых,
как стрекозы внезапное крыло
в трухе оконных насекомых.

Вот лавка редких книг закрыта на учёт,
но ты войдёшь в её затишье
и пролистаешь утро напролёт
ручные пятистишья.

Как ветер под землёй, качается покой,
выращивая сны без листьев.
Прозрачная земля вращается легко,
а небо вязко и землисто.

* * *

Научи меня плыть, обнимая упругую воду.
Мне такая свобода знакома по переводу
на древесный язык растревоженной вёсельной лодки,
суховатый и горький, как ягоды черноплодки,
как валежника треск, как ночная тоска пешехода.

Посмотри, сколько лет, кем-то выброшенная на сушу,
ненасытных купальщиков влажные башни разрушив,
я бегу от себя, как поток остывающей лавы,
превращаясь в ландшафт, оставаясь навеки снаружи.
Как я трушу у каждой реки! Научи меня плавать.

Если всё совпадёт, если существованье продлится,
мы успеем взглянуть в изумлённые узкие лица
удивительных рыб и пройти несъедобным планктоном
через толщи времён и воды невесомые тонны,
и тогда

* * *

Неужели и ты из тех, кто
сминает рельеф, как текто-
нический сдвиг, как техно-
кратический бум, как тот
прославленный архитектор,
что строит дворцы пустот?

И ты – лишь о том, о том же
оскоминном: о подкожном
смятенье, о том, что тоньше,
беспомощней и грубей
словесной игры роскошной,
оставшейся на губе?

Как мне пролететь над женско-
мужским, неумелым жестом
ни флюгера хриплой жести,
ни облака не задев?
Не выдразнить тьму нашествий,
таящуюся везде?

* * *

Утром проснёшься: ветер в затылке, смутная память о саде.
Пух тополиный стружкой овечьей тихо бежит по земле.
Время, как дождь, в трещинах гибнет и выпадает в осадок
на оболочке глаза, бумаге, стекле.

Облако, дерево, птица с растянутым горлом,
с отколотым краем
чашка, забытая книга, в которой тебе не хватает страниц,
запах нагретой травы, полустёртой мелодией долгоиграя,
тихо звучащий с наветренной стороны, –

где ты? А Бог весть. Восточнее Запада, западнее Востока,
там, в междуречье сквозных совпадений,
в кибитке дрожишь кочевой,
едешь в подземке, гулко гремящей ржавой трубой водостока,
по кольцевой.

Там, между азом и ять, между точной разборчивостью книгочех
и сумасшествием нищего, дервиша, пробующего на слух
всё, что ещё не возникло из мысленных сот, из неясных ячеек –
и возникает навеки, захваченное врасплох;

здесь, где текучее время тонирует зреньё, что твой полароид –
плёнку, и всё, что увидишь, как будто под бежевым слоем песка,
ты остановишься, чтобы пройти сквозь поверхность
и медленно строить
маленький дом на окраине языка.

Ты открываешь во мне

Ты открываешь во мне неизвестные земли.
Ещё никогда
там не ступала нога европейца.
Только туземцев
странные гимны слышала эта вода,
этот залив у окраины сердца.

Да, человек до поры запечатан,
как свёрнутый в трубочку лист –
в толстостенной бутылке,
отчаянно бьющийся пленник.
Как мельчайшая буква, которую окулист,
близорукость измерив,
покажет последней.

Объявление войны

Я опять прорвалась сквозь прозрачную плёнку
маеты – и опять меня нет.
Вместо сердца зияет слепая воронка,
вместо памяти – рваный просвет.

И пока от войны защищаются стены,
не поверив в неё до конца, –
тень машины, гружённая мёрзлой тенью,
пробегает по тени лица.

Нет меня. Я лишь буфер, сквозняк, перекрёсток –
не задерживайся, проходи.
Ты ещё существуешь, тростник-переросток,
с точной дырочкой в поллой груди.

Как же хочется быть – наслаждаться веками
облаками, мой хрупкий антроп!
Невозможно растоптанными башмаками
этой женщины старой в метро.

Не собой быть – а теми, тобою и теми,
той собакой и деревом тем...
А не выдержи эту кромешную темень –
хоть узнаю, мы жили зачем.

* * *

Плейер, тебя превращающий в глубоководную рыбу,
вспышки под веками.

Что: лепестки ли, чешуйки в вагоне метро?

Дети скрипичные, падающие в разрывы
памяти. Лица листаешь со скоростью кинопроб-
ных кадров. Вот оно, то, что искала:

рыжая девушка,
кажется, глухонемая.

Так же и ты

в хоре подсвеченном плаваешь, не понимая
ни нетерпения рядом стоящего

(«Девушка, может быть, мы познакомимся...» –
губы беззвучно шевелятся),

ни боттичеллиевой
немоты.

Как одиночество странно! Как будто снаружи
изменилась среда.

То ли твой выдох сейчас опустело-разрежен,
то ли и вправду прозрачное тело
держит вода.

* * *

Выдохнуть бьющуюся в гортани
бабочку и неживую природой
лечь, упуская эры братаний
видов, возвращённых на кислороде.

Женщина, гумус, материя – мерить
нечего. Эти различья подобны.
Значит, я ближе и к жизни, и к смерти.
Бабочка вздрогнула, сев поудобней.

Память

Когда-нибудь, когда-нибудь, когда
мы станем галькой или валунами,
и, может быть, «моренная гряда» –
пометят новые географы над нами
в походных картах (варварский ледник
едва растает в северных широтах),
и всё, что мы запомнили из книг
о камне, точным до наоборот
окажется, – тогда пойму, как быть
без чёткости меж фактами и снами.
И медленно пунктир резьбы
проступит трещинками-письменами.
И всё яснее будет этот труд.
И новые кочевники начнут,
отыскивая прежние кочевья,
угадывать погибшие значенья.

Концерт

Ловля ветра в дырявом кармане, где мелочи нет
(так, как нет мелочей для тебя – всё мучительно больно),
духового оркестра сквозняк, и – затакт, и – задет
чьим-то острым смычком и – летит твой сценарий невольный.

Точно шарик-циркач и обманщик детей самокат,
как стремительно эта земля подбегает под ноги!
И, наверное, так: из затакта начнётся закат,
но в трамвайное русло не впасть, не вернуться, пологий –

нет, по логике несовпадений – не вычертить спуск.
А бежать вверх по вдоху, выныривая из отверстий
ровно раненных флейт, и вплестись в пучок перепу-
таных струнных волокон не темы, но версий.

А потом, по карманам пошарив – ну был же билет! –
проследить, как из недр вылетает неясная птица.
Книгу жалоб-судеб не проси: даже мелочи нет,
и за счастье ты не сумеешь ничем расплатиться.

Телеящик Пандоры

Ты сказал: мы с тобой говорили при нём
чересчур на высоких тонах.
Я не спору. Ну что ж, отсыпайся, Геракл,
телеящик Пандоры подняв
в одиночку на шкаф, еле втиснув в коробку
с пенопластом беспечным внутри,
спеленав простынёй, точно раненого –
потому как смотри, не смотри
про неё, мой герой, – а война продолжает
сочиться, сочиться из пор
отключённого монстра.
Война-то идёт до сих пор.

Ты, наверное, прав: лишь безумные жесты
при подобном порядке вещей
что-то значат. Но так безымянные жертвы
во вселенной твоей вообще
не присутствуют, даже помехой в общенье
со мной. Перешло бытие
их в журчание радиоскороговорки
за посуды постылой мытьём:
перебиты все львы в городском зоопарке,
уничтожены письма
древних стел. Это мёртвым подарки-припарки
оставляет война.

Телящик играет в коробку.
Хозяйка
зеркала разбивает. Сосед
бесконечным ремонтом третирует пробки.
Европейства рассеянный свет,
позолота искусств и существ отраженья,
и взволнованные дневники –
хрупкой жизни однажды служить продолженьем
не сумеют уже никаким.
Ни мечты, ни надежды, ни новых наречий
выговаривающиеся слова –
только жесты любви до конца, безупречно
означают: ты жив, я жива.

* * *

Жду, когда
изменишь во мне состав
крови, когда
затопит меня прибой
речи, когда,
от мякоти сна устав,
за тобой,
Боже мой невидимый,
та во мне,
что видна одному тебе
до дна, –
по надводной плёнке,
по кромке дня...
А вовне
я одна вдвойне:
на песке,
в начале координат,
где и когито эрго сум –
вопрос,
как младенец и космонавт,
перекрутивший трос.

Терпеньё

Терпеньё, терпеньё – вот всё, что осталось теперь,
когда наступает песчаное время потерь,
пустынное время разбрасывать силы и камни.
И если ты скажешь: опомнись, вернись, собери –
иль ты позабыла о ветках, растущих внутри? –
отвечу тебе: эта тяжесть теперь велика мне.

Воткни меня в землю и деревом хрупким храни.
Ты знаешь, какая здесь почва – песок и гранит.
Присядешь в тени и подсохшие соты граната
разломишь – а это твои промелькнувшие дни.
Каким незамеченным счастьем сочатся они!
И ты их глотаешь – постфактум, спеша, воровато.

Как много просроченных подвигов в плане, но где
нам здесь научиться неслышно ходить по воде?
Как выпить обиду до дна, до касанья губами
одежды врага, ведь всегда он на той стороне,
смеётся над нами, паяцем бежит по стене?
О как же расти, ни препятствия не огибая?

* * *

Дневная боль приходит с юга
набегом пыльной саранчи
и накрывает до испуга,
от зренья требуя: молчи.
Потом, уменьшившись, в межбровье
шмыгнёт, сторожкая, как мышь, —
и вновь жестоко и подробно
идёт по телу Тохтамыш.
Какое странное лечение:
смотреть изнанкою лица,
как погибают в ополченье
смешные красные тельца.
Но знать: растущая рывками,
как гуттаперчевый бамбук,
душа не рвётся под руками
Того, кто ищет новый звук.

2

Январь

Видишь себя в полный рост, но как будто со стороны,
со спины.

Ты идёшь, уменьшаясь. Должно быть, ошибка.

Крики с катка заглушаются снежной обшивкой.

Все времена, как ворота, отворены.

Как хорошо, как легко обменяться местами
с горечью клёнов безлистных и пригоршней стай
воробьиных, пока этот снег не растает,
пока нарастает

тревога, пока тебе внятна и пустота!

Спрячься за деревом, если боишься себя обнаружить

там, где охотники ношу свою волокут

и за упрямые дула ржавеющих ружей

рыжие псы тербят их и просят за труд.

Прочь удаляйся, фигурка! Одну несвободу –

памяти тёмной, тугой, ни счастливой, ни злой –

в силах терпеть я, ныряя то в воздух, то в воду,

то перемешиваясь с землёй.

Ты говоришь:

«Эта пугающе-липкая мгла,
что ползёт от торфяников, в горле и горечь и жженье
оставляя,
огромной, бесформенной тварью была:
вырывала прохожих слабеющие растенья
и глотала их.
Как я боялся тебя не найти!
И, стеклянный сосуд-оболочку тебе выдувая
из спасительных слов,
я бежал переулком, и ты
чудом встретила мне.
Но стекло расколосось, едва я
обнял тебя».

Если бы я...
Если б я только могла
удержать этот сон, этот миг, этот мир
от разрыва и пораженья,
но сама я фигурка в огне и огонь и зола.
И ни зла ни добра нет уже при таком приближенье
к тебе.
Если бы ты...
Но уже никаких
«бы» не построить на узкой полоске у самого края
земли.
И пока это пламя не стихнет,
буду стоять, как трава,
до корней прогорая.

Внутреннее зрение

Я вижу, как тёмное дерево медленно движется через меня
и в кончиках пальцев шевелятся тонкие ветки.
И эта картинка настолько сильнее реальности, что понять,
как выглядит тело, не могут тягучие веки.

Внутри меня мох и смолистая древесина. Земная кора
готова к любым превращениям, но мы замечаем
обычно лишь то, что поблизости, – кромку двора
и мёртвые вещи, что тайно живут за плечами.

Быть может, всё то, что приснилось, могло б прорасти
наружу; быть может, слова существуют – как звери,
как зёрна в земле, точно люди в смятенье и птицы в пути.
А их пустота – тоже выбор и зренья, и веры.

* * *

Горы сдвигаются.
Реки выходят из берегов.
Птицы и облака стелятся низко,
 почуяв гул.
Дом, сорвавшись с фундамента,
 делает несколько осторожных шагов.
По ту сторону зеркала
 кто-то пишет «ьвобюл».

То, что было стеклом,
становится деревом.
Даже смерть
превращается в обморок,
 стоит открыть нашатырный спирт.
Кровь совершает кругосветное путешествие.
Твердь,
ворочаясь, спит.

Нет ничего естественней
снега в апреле, дождя зимой.
Тёплой и страшной осенью зяблики думают:
снова черёд весны.
Только июнь не спутать ни с чем,
 как давний полёт во сне,
посередине фразы внезапное «ой».

Будущее раскрывается,
 как сердцевина цветка, –
сначала ужасно медленно,
потом всё быстрее и быстрее. Лепестка
нового ожидая,
 сердце бешеные «тчк»
отстукивает, и рвётся ткань.

Больше тебе не спрашивать, кто ты есть
или где ты есть,
слепо живя внизу,
 голову бросив вверх.
Здесь. Жизнь – это хвоя, грибница, влажный туес.
Фейерверк

марганцовки в стакане.

 Ум за разум заходит, и оба уже не нужны
в этот день. Став землёй бесконечной,
ни от кого не тая
то, что прятала долго, забудь о себе,
рассыпайся и жми.
Вот выходит дитя, чтобы спрашивать: «я?»»

* * *

Время падает в банку из-под дождя.
Перестирать бы сумерки с детским мылом.
В кухне, пока не перегорит звезда,
завтракать булкой с горящим смыслом.
Белкой бежать, перелетать стрелой,
плавать чайнкой, плакать безумной чайкой.
И на вопрос: так что же с тобой стряслось? –
не отвечать.
Выбора нет – но хочешь ли ты иной
жизни себе, спокойней, скучней и проще,
как за стеной,
медленным мхом поросшей?

* * *

Тянется тяжело мокрая нитка цвета «прости».
Кто-то невидимый вспрыгнул на плечи, не давая расти.
Силы в остатках, как на витрине «Ирис», на полке – гарус.
Радуйся, мама-смерть. Ведь теперь одно
в вечной работе пёстрое полотно:
страсть – вот уток, а основа – старость.

Скатертью-самобранкой лежишь, готовая накормить
тех, кто дрожит, цепляясь за тонкую нить.
Снова придёт робкая псина с телом оленя.
Кто ты, откуда несёшь пугливую весть?
Тронешь – стеклянный туман в ладони, не шерсть,
хрупкий, точно дитя на коленях.

Белым зрачок засыпает. Скоро салфеточный снег,
преувеличив красивое, ляжет на всех.
Снятся, снимаясь, птицы цветные.
Больно уколешься – значит, жива. Жива!
Видишь слова – так они не просто слова
для тебя и поныне.

* * *

Начинается время снов, непонятных слов.
Если ты боишься, поможет болиголов:
от него голова болит, да уже не так,
и разрыв времён забывается, как пустяк.

Если ты по нитке-волосу босиком
переходишь явь, не смотри, не смотри, в каком
страшноватом космосе плавает пол-строки,
выпав из-за щеки.

Ничего не умерло, только едва ли кто
видит тех, кто сеял звуки сквозь решето,
выгнул корни слов, измеряя излучки рек,
кто тебя берёт

в родовых деревьях дуплах сухих, пока
ты не вырвалась в жуть разреженного языка.
И теперь как вынужденный эквилибрист
переходишь лист.

31 августа

Чашечка кофе нечаянно пахнет грибами,
сыростью. Лес, растворённый в двухстах миллилитрах,
непроходим, будто в детстве. И неуправляема память:
тьму окликаешь напрасно. Но вот новостями, как рыжей
хвоей, засыплет, – и выйдешь к реке Гераклита.
Ну же, поближе!

Жизнь коротка, но об этом судить не живущим.
Что подо мхом голубичным в тебе залежалось?
Плётка: вот ты и сестра с рюкзачками в испуганной чаще;
папа с лисичками. Пыль меловая, летящая
с «ча» или «ща». В ярко-ранцевой праздничной гуще –
фартучки с кружевом крупным, как шалость.

Мама над скорой машинкой, суровой, как поезд.
Книжкой отдельной – «Тамань» и пластинка
с концертом пернатых.
За новогодним гулянием поиск Полярной.
Лары-Пенаты.
В общем, лирическая киноповесть.
(Так говорили.) Прохладные скрипки
в облупленных тёмных футлярах.

* * *

Лето, как твой Диоген,
исчерпало свои аргументы –
вроде тех, что можно прожить
и в палатке, под лодкою, в бочке.
Что роса – это залежь веселья: промокнешь –
и вверх загибаются строчки
на нелинованной, вечно свободной
бумаге. Почти незаметно –
так же, как просверки счастья
летают в засвеченной кроне.

Я бы тоже держала всё это во рту,
как прозрачную клятву. Полезным
оскорбительно-ярким драже
зажимала в руке, на промытой сетчатке
витражи рисовала. Но устала за лето –
да так, что в комод не полезешь
за рубашкой и не побежишь по лесам
этажерки за книгой початой.
Облетаю, как дерево,
с нежностью вечнозелёной.

Всё, что в силах: жалеть городского бродягу
с его фонарём потускневшим
сквозь надышанный плен занавески.
Вот так оседать и сгибаться под тяже-
стью всех атмосфер, что сместились к тебе
после птичьего крика, понеже
ты, природе поверив, – умирая, теряя (живя!), –
остаёшься всё та же:
бестолковая девочка
над циферблатом без стрелок.

Снова Бергман внутри чёрно-белый.
Разреженный быт с истекающей датой:
вот часы из починки, что вернее спешат;
вот азартная стопка тарелок
на краю – табурета, терпенья.
Не тебя ли мы в парке кормили
загогульными кешью, паучьим арахисом древних,
бессовестной карамелью,
посеревшее лето-летяга?
Лети...

Сердце-ходики

кругом возможно Бог

сердце ходики ходок
уха улицей по снегу
в валенках без запятых
не присев ни на минуту
или это зверь жуёт
с хрустом писчую бумагу
иль в грозу ушли косить
мальчики бегут вернуть их
если спросят есть ли Бог
в панике искать по небу
я не стану а как ты
глаза камерой в предметах
смерти рассмотрю живот
как попавший в передрагу
человек скажу без сил
Бог мерцает есть и нету

* * *

Против хода теряешь пейзажи,
против воли – других.
Ничего тут жестокого, даже
темп достаточно тих,
чтобы ты поняла и привыкла
отвечать за одну.
Бесполезно выдавливать стёкла
и выдёргивать шнур.
Всё равно никого не захватит
«я» в подземный поход,
на прогулку по облачной вате
и в полёты над-под.
И пока оболочку-обновку
не сожгла изнутри,
проезжая свою остановку,
смотри.

Тростник

Лучше в небе журавль и синица в руке,
а записочки-сны в рюкзаке.
Чертежи-миражи... Не тужи – покажи,
расскажи о небесной тоске.
О воздушной реке, голубом тростнике,
о побеге олень-облаков.
Человек бесполётен под тяжестью лжи –
неужели же ты не таков?
Почерк клонится влево, а тут как стерня –
срезан жадной косой на корню.
Обижайся, как хочешь, сейчас на меня,
всё равно я тебя сохраню.
Лучше в небе журавль, лучше солнечный день,
лучше хлебные крошки синиц,
лучше быть только тенью отчаянных тем, –
чем падение вверх или вниз.

8-926...

Абонент недоступен навечно. Он не говорит.
У глаголов его неизвестный грамматике вид.
Он давно уже – зверь или, может быть, хрупкая птица.
А у них и заботы другие, и времени нет,
чтоб смотреть сквозь тяжёлые веки на утренний свет.
Зарастает теплом, замирает, сейчас прекратится

эта связь, точно резь под ребром. Города, времена
превращаются в мел. Твоё дело – песок, сторона:
не спасти ничего. И, упорствуя в прямохождение,
заблудившись меж зданий разрушенных (в каждом видна
их эпоха), ты всё же вернёшься из странного сна
за секунду до пробужденья.

Ты не помнишь, как всё начиналось: наверно, с добра
или зла, или, может быть, впрямь с запасного ребра
для тебя (так берут черенок у смородины), Слова –
для него. А теперь накрывает, как тьма, немота.
Вот и Дарвин доволен: становится всё на места.
Значит, снова ab ovo.

Сколько помнит о запахах-знаках подшёрсток и пух,
столько бедный двуногий, сбивающий логикой нюх,
беспричинный заложник дыханья чужого, касанья,
никогда о другом не узнает. Но в каждой любви,
точно споры, живут сообщения неулови-
мые об окончанье.

* * *

Народ несёт печать зимы.
Народ несёт печаль зимы.
Зима неизъяснима.
В её зрачке застыли мы,
как неоконченная мысль
и неудачный снимок.

Мы простаки. Попав врасплох,
зимы прослушав монолог,
не понимаем знаки:
к чему листвы переполох,
зачем цветёт чертополох
на шерстяной собаке?

Как тень гигантского крыла,
зимы ресница сорвалась,
мир рассекла на части.
И счастья нежная пыльца
ложится всем на пол-лица,
запудрив свет несчастья.

Мужчины в бежевых плащах
на синтепоновых плечах
несут обломки неба.
Тинейджеры на помочах,
как циркачи, чей трюк зачах,
болтаются нелепо.

Деревья в списанном раю
раскачивают песнь свою,
пока ползёт машинка
и режет позднюю траву.
А сердце держит на плаву
прекрасная ошибка.

Что, если вправду всюду тот,
к кому лишь брошенный пойдёт,
езде его улики?
А мы молчим в зрачке зимы.
Ещё совсем осенни мы,
рассеянны и дики.

* * *

бессонницы зренье истрачено до конца
мучительно так не придётся уже ночевать мне
меж явью лица и вскипающей тайной лица
когда для защиты от будущего ничего нет

здесь падает тело как глупый подстрочник как дождь
а яблоко-сердце на счастья своём повисает
и всё что распутав ресницы с утра украдёшь
под веками плавает рваными полосами

ты падаешь тело одно я же блочный жилец
на времени нитке на счастья надломленной ветке
я только бессонный хранитель двух лиц
слепец тонковекый

Отточие

Голова – чёрный ящик. И, кажется, не извлечь
тех, кого я любила. Всё то, что когда-то любила.
Повиликой внутри разрастается зябкая речь.
У неё дефицит хлорофилла.

Но природа двухслойна, поверь мне, что будет не так,
как снаружи: не лодка с затоптанной хвоей под килем,
не оскомина медных тарелок – а темнота
и мерцание точки. И мы никого не покинем.

Так же вспышками память живёт, как в знакомой среде,
только ярче она у бесплотных, глухих и незрячих.
Что же легче подумать о страхе ничто и т. д.,
о случившемся с нами не зря чем?

* * *

Птиц пронесли, точно маски кабуки, –
вот театральность зимы.
Самые непонятные звуки
взяты у зренья взаймы.
Замкнутость комнаты. Из полировки
вырос нелепый цветок.
Память, пока не имеешь сноровки,
действует, как ток.
Графика сумерек резче и резче.
Вечер упал, точно плащ не по росту.
Сон – это просто рассудка и речи
временное расстройство.
Если бы время было песочным
в чём-то ручном и стеклянном,
был бы и опыт уроком заочным,
и не тяжёлым, а странным.

* * *

Частная жизнь в сюртучке непонятного цвета,
с нерастворимым «люблю вас» под языком.
Договорились же: больше не будем об этом
медленном счастье, а лучше и ни о каком.

Вынь-ка улыбки бумажный платок из кармана,
вытри лицо и послушай, пока без помех:
огнеупорного горя горшочек гортанный,
слепленный наспех, и плач переводит как смех.

Там, где смеются смешные «ревущие ревмя»,
время дрожит, как кисель из гигантского ревя,
звук «крылышка» и песенки шар голубой.
Нитку покрепче держи, замерзай не на шутку.
Ты ведь сама – только воздух, ты – жуть промежутка
между тобою и той, что стоит за тобой.

Испорченный батискаф

В сумерках в комнате не отыскать
углов. Как в испорченный батискаф,
сажусь и с последнего этажа
падаю вглубь дождя.

Я и не знала, что подойти к окну
значит остаться здесь, но пойти ко дну.
Дорогая вода! Ты же меня всегда
притягивала как гибельная среда.

Рыбы-шары, дрожащие фонари,
мутно и медленно светятся изнутри.
Водоросли ветвей и губчатый снег
нереальней всех.

Если и есть в этой жизни какой-то смысл,
дождь его смоеет, если уже не смысл.
Мох подсознания, чёрный придонный мох
вытолкнет шаг, но напомним, как сделать вдох.

* * *

и вот мне приснилось что сердце моё не болит
оно ведь уже и не сердце
а утлый кораблик а дом неприметный на вид
под гудом двуликого леса
а белый налив на руках оробелой посуды
а юркий налим
дрожущая лента-река
а погасший рассудок
а чудо

и вот мне приснилось что ты это каждое «ты»
что нет в языке ни «она» и ни «он» и тем более
«я»
что другая реальность лишь только завеса
что выйдешь из платья как будто из тёмного тела
повсюду в тебя
и что ты есть открытое поле
и книга

и вот мне приснилось что сердце моё только свет
слепающий мучительно-белый
отчаянно-ровный
что всё прощено и что люди мои одноверцы
и братья и сёстры по белой светящейся крови
что смерть с нами тоже на «ты» только ужаса нет

Миф

1

Закрывай глаза, покачиваясь на весах
Фортуны, не прыгай в чашечку ни одну –
не судьба. И надписи «Ингосстрах»,
подходя к окну, не пугайся – не про тебя.
Ты сама себе (или, может, «сам» –
человек?) – невнятица, бормота,
анфилады гласных, ведущих к снам,
колобок согласных лишь размотай.
Ты сама, ты сам – Ариадна и
эта нить, чудовище и Тесей.
Этот пласт темней, чем могли вы вообразить,
звукоряд тесней.

2

Поживи внутри. Полушария головы
разомкнулись, осью разделены.
Упираясь в левую из половин,
вектор времени в правой кромсает дни.
Вот и стержень мира прогнулся и
перевесило явное. Вот и кровь
говорит с тобой из последних сил.
Вот и медный, медленный гул в ушах –
точно бунт наклонного материка.
Если выйдешь к свету, увидишь, как
под стопой поленница ровных строф
поползла. Как фигурки скатываются голышом
в лоно катастроф.

3

Посмотри вовне: это у окна
героиня ждёт на семи ветрах.
Ну так что, Ариадна? Опять одна?
Твой клубок рассыпался, точно прах.
То ли книга схлопнулась («Инга К.» –
всё, что мозг со вспышкой разберёт),
то ль в тоннеле будущего языка
завалило выход. Смотри: и вход.

Содержание

1	
«Слова распахнуты, как праздничные двери...»	5
Март	6
«Книги ли переставляешь на полке...»	7
Прогулки наугад	8
«Научи меня плыть, обнимая упругую воду...»	9
«Неужели и ты из тех, кто...»	10
«Утром проснёшься: ветер в затылке, смутная память о саде...»	11
Ты открываешь во мне	12
Объявление войны	13
«Плейер, тебя превращающий в глубоководную рыбу...»	14
«Выдохнуть бьющуюся в гортани...»	15
Память	16
Концерт	17
Телеящик Пандоры	18
«Жду, когда изменишь во мне состав...»	20
Терпенье	21
«Дневная боль приходит с юга...»	22
2	
Январь	25
Ты говоришь	26
Внутреннее зрение	27
«Горы сдвигаются. Реки выходят из берегов...»	28
«Время падает в банку из-под дождя...»	30
«Тянется тяжело мокрая нитка цвета «прости»...»	31
«Начинается время снов, непонятных слов...»	32
31 августа	33
«Лето, как твой Диоген, исчерпало свои аргументы...»	34
Сердце-ходики	36

«Против хода теряешь пейзажи...»	37
Тростник	38
8-926...	39
«Народ несёт печать зимы...»	40
«бессонницы зренье истрачено до конца...»	42
Отточие	43
«Птиц пронесли, точно маски кабуки...»	44
«Частная жизнь в сюртучке непонятого цвета...»	45
Испорченный батискаф	46
«и вот мне приснилось что сердце моё не болит...»	47
Миф	48

В издательстве «Воймега» вышли следующие книги:

серия «приближение»:

Ольга Нечаева «Птичье молоко»

Алексей Тиматков «Воздушный шар»

Андрей Чемоданов «Совсем как человек»

Всеволод Константинов «Седьмой путь»

Александр Сорока «Тутырь»

Валерий Халяпин «Три-вы-я»

Александр Максимов «Новый год-II»

Александр Переверзин «Документальное кино»

Михаил Свищёв «Последний экземпляр»

Мария Тиматкова «Настоящее имя»

Светлана Бунина «Удел цветка»

Ната Сучкова «Лирический герой»

Денис Новиков «Виза»

Ирина Ермакова «Улей»

Ян Шенкман «Скоро придёт конец птице, оглохшей от собственного пения»

Григорий Кружков «Новые стихи»

Александр Тимофеевский «Размышления на берегу моря»

Андрей Василевский «Всё равно»

Игорь Меламед «Воздаяние»

Книги можно приобрести в магазинах:

Книжная лавка Литинститута, Тверской б-р, д. 25

«Фаланстер», М. Гнезниковский пер., д. 12/27

редактор:

А. Переверзин

художественный редактор:

С. Труханов

корректор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

e-mail: voymega@yandex.ru

alkonost@yandex.ru

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Формат 60x90 1/16

Тираж 500 экз.



Инга Кузнецова родилась в 1974 г. в поселке Черноморском Краснодарского края, выросла в подмосковном академгородке Протвино. Окончила факультет журналистики МГУ, в аспирантуре изучала философию. Первый сборник стихотворений «Сны-синицы» (2002 г.) был удостоен молодежной премии «Триумф» и профессиональной поэтической премии «Московский счет» за лучший дебют. Стихи Инги Кузнецовой печатались в различных журналах и антологиях. «Внутреннее зрение» – вторая книга автора.